

«Лебединая прохлада»

Случай был такой: погорело помещение, в котором полковая музыкальная команда была расквартирована. Вот, стало быть, пока ремонт производился, полк снял под музыкантов у купеческой вдовы Семипаловой старый дом, что на задворках за ее хоромами на солнце лупился.

Дом крепкий, просторный. Прежде в нем сам купец с семейством квартировал, а как помер, вдова с отчаянной скуки себе новые хоромы взгромоздила, а старый дом так и стоял без надобности, паутинкой-пылью замшился, - мышам раздолье.

Перевезли, значит, кавалеры свои сундучки на нестройной двуколке, костылей в стены наколотили, трубы свои поразвешивали, - живут. Воздух, конечно, затхлый, однако, как махоркой его провентилировали, - живым духом пахнуло.

С утра до вечера цельный день трубы курлычут, флейты попискивают. Потому команда помимо своей порции еще и в городском саду по вольной цене по праздникам играла. А тут еще и особый случай привалил: капельмейстер, прибалтийский судак, хочь человек вольнонаемный, однако по службе тянулся, - вальс собственного сочинения ко дню именин полковой командирши разучивал. "Лебединая прохлада" - на одних тихих нотах, потому в закрытом помещении у командира нельзя ж во все трубы реветь...

А в том дому, братцы, еще с турецкой кампании, домовик поселился, на чердаке себе место умял, стружек сосновых понатаскал - прямо перина. В новые хоромы не переехал, - старый деревянный дом куда способнее, что ж камень своими боками обсушивать... Да и домовые, они вроде кошек - к своему стародавнему месту до того привычны, что и с кожей не оторвешь.

Харч был готовый - на помойке, за банькой, завсегда либо мозговую кость, либо пирога подгорелого добудет. Дворовый барбос до этих лакомств не достигал, потому домовый еще с вечера помойку обшаривал, пока собачку с цепи не спускали.

В лунные вечера ему, красноглазому, раздолье: по пустым покоям похаживает, мутным баском рявкнет, - стекла по всем концам так и отзовутся. Либо на рундучок в прихожей ляжет, патлы свесит и давай по мышиному поцыкивать... Набежит мышей прорва, он им сладкий сухарик скормит, да на две партии и распределит: которые мыши пешком - пехота, которые на крысах верхом - кавалерия. Хлопнет пяткой о притолоку, знак подаст - пошла война.

Грызутся, кувыркуют о пол шмякаются, а он, шершавый, и рад - по рундучку катается, сам себя лапами по пузу барабанит. Удовольствие.

Зато и мышиную свою команду уж он не выдавал, ни одного кота в дом нипочем не допустит. Чуть который мурло из-за ободранной доски покажет, чичас его домовик кочергой по усам, кот так и вскинется. Попал шар в лузу да и выскочил.

Да и на крыше ему, кудластому, лафа... Зимой белые шмели над трубой попархивают, в ставне у купеческой вдовы красное сердечко мерцает. Тишина кругом до чрезвычайности. Дальний лес в мутном молоке дремлет...

Дура-ворона сбоку на крышу подсядет, слепит домовой снежок да в зад ей и пальнет, - лети, милая, не загащивайся!.. И летом неплохо: звезды, Божьи глаза, над кровельным коньком играют. Сопрет домовой из колодца бутылку пива. Пьет, ногой по жолобу стучит. Остатки дворовому псу на башку сплеснет, не смотри, обормот, на луну, не для тебя выплыла... В саду сторож у шалаша груши-опадки печет. Чуть глаза заведет, домовой свою порцию свистнет, с руки на руку перекинет и к себе на чердак. Знатно жил, что и говорить...

Особливо ж он весну обожал. Черемуха округ всей крыши кольцом цветет, миндальным мылом ноздри лоскочет. Соловьи над малинником гремят, звонкий раскат-пересвист из сада до того грустно наплывает, что не то что домовой - бревно разомлеет. Вытащит он из водосточной трубы своей работы жалейку, да как начнет соловьев подбадривать, аж прачка Агашка на дворе на белых пальчиках лебедью закружится...

И вот тут нежданно-негаданно - загнали ему под самый, можно сказать, май месяц шип под ноготь. Понаперло этой музыкальной солдатни во все покои, прямо дом трясется. Днем не заснешь, - а когда ж и заснуть домовому, как не днем... Почитай с зари гундосят черные дудки, флейты до такой пронзительности достигают, аж в глазах режет, басы в подкладку мычат-раскатываются. Хоть башку в стружки зарой, хоть паклей из-под бревна уши законопать, нипочем тишины не добьешься. Марши да польки - будто медные козлы через стеклянный забор скачут... Вальс "Лебединая прохлада", правда, на одном пьяном шопоте шел, да что толку, ежели капельмейстер через каждый такт музыку обрывал и такими прибалтийскими словами солдат камертонил, что домовой с тоски в трубу голову засовывал. Не любят они, домовые, когда кто по-русски неправильно ругается...

Да и ночью не легче было. Строевой солдат, когда он не дневалит, да на посту с ружьем не стоит, ночью обязательно дрыхнет, а эти бессонные какие-то

оказались. Чуть капельмейстер на свою фатеру через дорогу вонзится, чуть старший унтер-офицер, сверхсрочный старичок, мундирчик с шевронами над койкой повесит, сейчас - кто куда. В саду шу-шу, шу-шу: мало ли беспризорных куфарок да мамок... Полковому музыканту после пожарного, можно сказать, первая вакансия. Из окон сигают, в кустах масло жмут - всех соловьев, самозабвенных пташек, к собачьей матери поразогнали... Сирень снопами рвут, - на пятак попользуются, на рубль поломают. Ох, сволочи!

Нырнет домовой, как солнце сядет, под жимолость, к помойке своей серым катышком проберется, ан и тут обида: квартирант богоданный, музыкантская собачка Кларнет-пистон, все как есть приест, - хоть мосол обглоданный после нее прохладным языком оближи... На чердак вернется, - портки музыкантские на веревках удавленниками качаются, портянки, хочь и мытые, на лунном свете кадят-преют, никакая сирень не перебьет.

Даже мыши и те сгнули. Капельмейстер, чистоплюй, во все углы носом потыкал, - приказал в мышинные щели толченого стекла насыпать. Тварь Божья ему, вишь, помешала. Ну и ушли все скопом в лабаз соседний, не по стеклу ж танцевать. Лапки свои - не казенные. Совсем домовому обидно стало, как своей последней компании он решился. Ишь, хлуп гусиный, - на малое время до лагерного сбора с командой втиснулся, а распорядки заводит, будто он тут и помирать собрался.

Вылез как-то домовой в полночь на крышу, к трубе притулился, лунный дым сквозь решето стал сеять, а сам свою думку думает: как бы охальную команду с места сжить? Не самому ж с стародавнего гнезда сниматься... Хоть дом сожги, - в золе под порогом ямку выкопает, никуда не поддастся.

Кой-чего и придумал. Начал он тихо, вроде "Лебединой прохлады", а дальше все круче: поострей толченого стекла дело-то вышло.

Утром, чуть ободняло, полез барабанщик на чердак, бельишко в охапку собрал, - все как есть на месте. А чуть на свет вынес, так и заверещал:

- Ох ты, гусь я яблоками! Гляньте-ка, братцы... Никак черт на нашем белье трепака плясал!

Сбежались музыканты, - вот так постирушка. По всем порткам, рубашкам жирной сажей следки понатопта-ны. Да и следки какие-то несуразные: то ли селезень с медвежонком сажу на белье месили, то ли обезьяна заморская, из трубы вылезши, на передних лапках по белью краковяк танцевала...

Подкатился тут старший унтер-офицер, подковками затоптал:

- Что ж энто, до-ре-ми-фасоль вам в душу, за оказия?! Как так недоглядели? Почему такое?

Догляди-как тут, - не часовых же к подштаникам ставить... Капельмейстер на крик из своей фатеры поспешает. Скрозь очки глянул, чуть дневальному голову не отгрыз. А что ж с дневального в таком разе и спросишь, - ведь этак его и за лунное затмение под винтовку ставить-то надо...

Ну, кой-как дело обмялось. Собралась команда в верхнем помещении. Впереди флейты, за ними кларнеты, у стен геликон-басы, - самые пучеглазые да усатые кавалеры. Дал капельмейстер знак, чтобы, значит, "Марш-фантазию" спервоначалу для разгону музыки. Набрали солдатики полную порцию воздуха, понатужились, дунули в мундштуки, - как прыснет из всех раструбов керосин, - так всех с морды до подметок и окатило. А более всех капельмейстер попользовался, потому он всегда перед командой, палочкой своей выкомаривает...

Затрясся он, раскрыл было рот, чтоб всю команду в три тона обложить, ан слов-то и не хватило... Выплюнул он с пол-ложки, - с висков течет, мундирчик залоснился, с голенищ округ ног жирный прудок набегает. Залопотал он тут, как скворец, - и слов других не нашлось:

- Что значит? Что значит? Что значит?

Ничего и не значит! Помет на полу, а птички и видом не видать.

Призадумались тут и музыканты, а уж на что народ дошлый. Флейтист один мокроротый, весь, как сорочье яйцо, веснущатый, кинулся к керосиновой жестянке, что в углу стояла: пусто. А вчера полная ведь была, - вот в чем суть!

Стали солдатики шарить, про капельмейстера и забыли, - хочь и начальник, совсем он ошалел с перепугу, чихал в сенях да старшему унтер-офицеру бока свои мокрые под тряпочку подставлял. Стали шарить. Глядь-поглядь, такие же следки, как и на белье, только керосином смоченные, на чердак вели... Заскучали тут многие...

Однако ж, опомнился кое-как прибалтийский судак энтот, приказание дал, чтобы чердак до последней балки обследовать. Музыканты, ежели присяга потребует, народ храбрый: в самый бой впереди всех с музыкой идут. Ан тут человек с пять охотников-то набралось. Фонарь зажгли, барабанщик наган свой против неизвестной нации неприятеля из кобуры вытянул, поперли на чердак. Тыкались, все закаблущья друг дружке оттоптали, - хочь бы моль для смеха попалась. Только с дюжину пустых пивных бутылок у слухового окна нашли, - как кегли расставлены. Да заместо шара чугунная бомба, что к лампе

подвешивают, рядом лежала. Ох, Ты, Господи! То-то вчерась ночью над головами гудело-перекатывалось. Потоптались музыканты, никто и слова не сказал.

Делать нечего, - стали они задом с лестницы спускаться, а вдогонку им из-под дальней черной балки стерва какая-то подлым голосом огрызнулась:

- Ку-ку! Шишь съели?..

Загремели солдатики вниз, аж лестница затряслась. Доложили капельмейстеру, бухнул он с досады в турецкий барабан колотушкой, чуть шкуру не прорвал.

- Чепуха на барабанском масле! Голые потемки разве сами разговаривать могут? Промывайте струменты, ну вас всех к подноготному дьяволу...

Обнакновенно немец, - и выразиться по-настоящему не умел. Поманил он старшего:

- Займись тут пока с ними. А я пойду переоденусь, потому я весь фотогеном провонялся. Фитиль в меня вставить - и лампы не надо!..

Отрепертились солдатики к вечеру, аж губы набрякли. Дело спешное: завтра утречком к полковой командирше в полном составе являться, сурпризный вальс играть. Проверили они струменты, да вместо верхнего помещения внизу их над койками поразвешали, - при лампочке да при дневальном сукин бес не накеросинит.

Сели в кружок - кто в картишки, кто ноты подшивает, кто из черного хлеба поросят лепит... И вдруг все враз к фортке головы повернули: из-за колодца, из садовой чащобы не весть на чем, - не дудка, не окарина, не весть кто "Лебединую прохладу" насвистывает...

Да с такими загогулинами да перекатцами, что капельмейстеру хочь лицо закрыть. Он, минога, гладко сделал, будто наждачной бумагой отшлифовал, а тут стежок за стежком золотом завивается, сам из себя звонкие ростки дает!.. Кому ж играть? Все на местах. Экое, ведь, дело!

Пошушукались кавалеры. Расползлись по углам. В сад, конечно, ни один не сунулся, - место неладное: взамен знакомой куфарки еще такое, - тьфу, тьфу, - облапишь, что и рот набок сведет... Тихо-мирно по койкам своим завалились, подводные жуки в ушах зашуршали, - уснула команда.

Один щеголек-флейтист у окна сидит, хозяйство свое налаживает. Утром в экстренной суматохе со всем не управишься... Поясок лакированный

лампадным маслом протер, на вороненую бляху подышал, тряпочкой прошелся, - так павлиньим глазком и прыснуло. Фуражечку встрянул, - не блин армейский, своя собственная, - края пирожком загнул. Соколом на голове сидит... Полосатые оплечья слюной освежил. - Эх вы, Дашки-канашки, прилипай к рубашке... Оплечья энти, братцы, у них, форсунов-музыкантов, как у селезней хохолок в хвосте. Так девушки пачками и дуреют...

Музыканты, они, черти, фасонистые, писарям не уступят. Потому завсегда на людях: то в городском саду в сквозном павильоне над публикой гремят, - каждый сапог на виду, - то на парадных балах мазурку расчесывают. Михрютками в голенищах разинутых не вылезешь, не тот табак. А ежели кой-что себе сверх форменной пригонки и позволяли, - адъютант не подтягивал. Ему тоже, поди, лестно: такую команду хочь в Париж посылай...

Обдернулся солдатик, - кажись, все. А как шаровары свои просмотрел, видит, пуговицы подтянуть надо, - нитка, сволочь, гнилая попалась: чуть молодецкую выправку развернешь, так пуговка канарейкой вбок и летит... Прихватил он все, как следует, щука зубами не отгрызет. Подтяжечки новые примерил, в оконное стекло на себя засмотрелся: чисто генерал-фельдмаршал...

Музыканты, они ремешками не затягиваются, - и форс не допускает, и для легкости воздуха в подтяжках способнее: ежели брюхо поперек круто перетянешь, долгого дыхания тебе, особливо на ходу, не хватит. Обязательно себя в штанах, как в футляре, содержать надо, чтобы правильная перегонка нот из груди в подвздошную скважину шла.

Охорашивается флейтист в стекло, подтяжечками поигрывает, с сонной зевоты рыбкой потянулся, - ан почудилось ему тут, будто с надворной стороны серый козел на дыбки подымается, в окно на него во все глаза смотрит.. Прикрыл солдат бровки ладонью, воззрился в темную ночь, так вдоль стены и метнулось чтой-то... Да еще и фыркнуло, шершавое зелье, - по всем кустам смешок глухой шорохом прокатился.

Не прачка ли Агашка? Голос у нее, однако, не толстый кларнет с переливом, не то чтобы в басовую подземность ударять. И бежать ей с чего же: ты ей гимнастерку поштопать, а она к тебе так всем арсеналом и подворачивается...

Кто ж, лярва, сквозь окно подсматривал?.. Вспомнил тут музыкантик, какие чудеса в команде разворачивались, сжался, как мышь... Гардероб свой на табуретке конвертом сложил и в теплое гнездо под собственное одеяльце чижином безвинным забился. Ишь, как в трубе корова в пустую бутылку ухает, а ведь на дворе ветра и в пол-колебания нет... Спаси, Господи, помилуй флейтиста Данилу, сонным неводом затяни, на заре перышком встряхни!

Остался дневальный посередке за столиком одинокой кукушкой. Сидит, бодрится, жужелицу по нотам пальцем подталкивает, чтобы правильное направление держала. Чего ж бояться: лампочка в полную силу горит, вокруг земляки в носовые фаготы дуют. Не в лесу сидит, - наплевать!

Скрозь фортку оркестр соловьиный достигает, - вот поди ж, никто не учил, а без капельмейстера так и наяривают. Эх ты, жисть!

Притих он, прищипился, стал было носом дремливую рыбку удить, - ан слышит, будто дверь скрипнула... А может, и не скрипнула, - солдат во сне зубом заскрежетал? Серая мгла вдоль коек бродит-шарит, ножницы будто звякнули. Откуда тут в ночной час ножницам взяться? Таращит дневальный глаз, к земляку на койку присел, - и жуть на него наплывает и ночная муть по рукам пеленает. Вздремнул, не вздремнул, - бык его знает. К ковшику подошел, в ладони себе прыснул, глаза освежил и стал для бодрости на столике крепко, слово вырезывать.

Сменился дневальный, другой заступил. Ан тут вскорости и солнце, словно подсолнечник золотой, из-за сада выкатилось.

Не успел капельмейстер щеки себе поскоблить - слышит, насупротив в команде крик-шум, старший унтер-офицер истошным голосом орет. Побежал немец через дорогу, как был в мыле, в музыкантское помещение заскочил. Хоть и вольнонаемный начальник, скомандовал ему навстречу дневальный: "Встать, смирно!" Кто привстал, руками за брюхо держится, а кто так на койке турецким дураком сидит... Что такое?

Старший из угла шкандыбает, всей пятерней штаны на весу держит, лица на нем нет.

- Ох, ваше скородие... Пропали мы все с потрохами! Как к командирше команду вести, ежели на всех музыкантских штанах пуговицы все до одной отрезаны?!. Даже пряжки на хлястиках все начисто, можно сказать, слизаны. Либо в трубы дуть, либо штаны держать, - совместить никак невозможно!..

Началась тут, братцы, завирушка... Ночной дневальный крестится, языка с перепугу лишился, - знаками показывает, что ни сном, ни духом он тому не причинен. Да и не до дневального в таком виде, - через малое время в поход к полковому командиру на фатеру идтить. Как быть-то?

Послал капельмейстер утреннего дневального, - на одном ем брюки в полной исправности были, - к командиру нестроевой роты, чтобы распорядился из чихауза новый комплект спешно выдать. Припустил дневальный, а капельмейстер вдогонку дирижирует:

- Беги четвериком! По сторонам не смотри... На чужой кровать рот не раздевать... Марш, марш! Глухому попу два обеда на ужин...

Скрылся из глаз дневальный. А время идет. Обшарили на всякий случай все сундучки, - на всю команду пять запасных пуговиц набрали, - музыканты народ не запасливый. Пока что булавками подкололись, да это ж вещь ненадежная: духовой струмент крепких пуговиц требует, потому натуга большая.

Стучат часы, минутная стрелка капельмейстера прямо по сердцу чиркает... Слышат они - конский топот у ворот. Не двуколка ли с шароварами вскачь примчалась. Глядь, сам полковой адъютант на взмыленном коне во двор вкатывает, - у него ж, братцы, музыкантская команда в непосредственном подчинении, - тут засуетишься!..

- Почему, - кричит, - Иван Распрокарлович, такое запоздание?! Все собравшись, командир в басовом ключе выражается, с какой стати музыки нет?.. Почему у вас личность в мыле? Рапорт об отчислении подавайте, ежели служить не умеете...

Капельмейстера аж в фальцет вдарило:

- Ох, господин адъютант! За бритого двух небритых дают... Сначала казните, потом выслушайте.

И доложил ему, какие камуфлеты в команде происходят. Притих адъютант, - видит, дело цинковое... А тут и двуколка со штанами подоспела. Оделась команда в два счета и марш-маршем к командирской фатере.

Хоть и с запозданием, однако вальс "Лебединую прохладу" пронзительно сыграли, - будто серебряные ложки в лоханке прополоскали. Разомлела командирша, капельмейстеру полпудовую ручку под усы сунула, музыкантов в беседку послала мундштуки промочить... Ежели нутро вспрыснешь, завсегда легче дух из себя в трубу гнать.

Командир полка, между тем, нет-нет да и насупится: моментальность любил, не приведи Бог, - а тут против расписания на двадцать минут оркестр согрешил.

Адъютант за парадным столом, что ж ему делать, все, как есть, и доложил: нечистую силу под арест не посадишь... И про портки со следами, и про керосин, и про пуговики... Заахали полковые дамы, господа офицеры осторожно удивляются, полковой батюшка в шелковый рукав покашливает.

А капельмейстер, судак прибалтийский, после шестой рюмки усы пирожком вытер и с отчаянной храбростью заявляет:

- Или я, или черт... Официальный прошу панихидный молебен отслужить, а то я за занятия не отвечаю. Ну, тут полковой батюшка его и причесал:

- Ни панихидных молебнов, ни молебственных панихид, Иван Карлыч, еще не существует. Может, вы сочините. А что касаясь черта, полагаю, что это не евонная повадка. Черт бы пуговицы с мясом вырезал, чтобы казенное добро до тла изничтожить... А это домовик, не иначе. Вы его тихой жизни лишили, он и озорует... Уж вы и не супротивляйтесь, - он вас доест. И молебен никакой не поможет... А если желаете доброго совета послушать, попросите вы через полкового командира городского голову, чтобы он вам, пока ремонт идет, - другое помещение под команду приспособил. Барак какой-либо бесчердачный, потому домовые в бараках не обитают...

Городской голова тут же насупротив сидел. С капельмейстером чокнулся и говорит:

- Ладно, рижский бальзам... Барак я тебе приспособлю. Только дай мне, братец, прибалтийское слово, что в воскресенье в городском саду сверх комплекта ты мне "Лебединую прохладу" на громких нотах сыграешь... Тихая музыка меня не берет... А я уж по тебе, как помрешь, - панихидный молебен по первому классу закажу. По рукам, что ли?